

и Николай Некрасов. Сходство любовных переживаний». Один из эпитафий к ней — обращенные к Тургеневу строки Некрасова: «Бог дал тебе свободу, лиру / И женской любящей душой / Благословил твой путь земной». Некрасов и Панаева — сюжет, лишь внешне сходный с тургеневским, но треугольник был. Жутко все это читать. А тут еще Герцен и Огарев, тоже не пропущенные Чайковской.

Раскол «Современника», вызванный рецензией Добролюбова, — материал для школьных учебников, но нельзя забывать (о чем в книге говорится подробно), что долгое время Тургенева и Некрасова связывала самая искренняя дружба (см. приведенный выше эпитаф!). В литературных кругах давным-давно гуляет фраза Тургенева, что поэзия в стихах Некрасова даже не ночевала. Ничего не пропустившая Чайковская, говоря о ссоре Тургенева с журналом (и, соответственно, с Некрасовым), этой фразы не приводит, из чего, я заключаю, следует, что ни в одном из источников она ей не попала. Когда, где и кому сказал или написал такое Тургенев? Если сказал, то, конечно, после 1860 года. Хорошо бы узнать источник и контекст. К литературным сюжетам в книге принадлежит и большой очерк «Мария Александровна Маркович (Марко Вовчок) и Иван Сергеевич Тургенев. История отношений».

Книга 2018 года заканчивается подборкой черно-белых и цветных иллюстраций (там и красавица Панаева, и респектабельный Луи Виардо, и молодой Генри Джеймс, и все, все, все) и тремя лирическими миниатюрами из жизни Тургенева, по стилю напоминающими новеллы Паустовского (такие, как «Ночной дилижанс», «Корзина с словыми шишками» и другие).

Вырос ли из Базарова лопух, вопрос спорный. Из бесчисленных авторов девятнадцатого века, безусловно, вырос, а Тургенев выдержал конкуренцию со своими великими современниками и не омертвел, как многие другие классики. Волшебный лес не погиб. Я уверен, что те, кто прочтут книги Чайковской, захотят перечитать многие места в них, а главное (главное!) — самого Тургенева. Лучшей награды литературоведу нельзя себе и представить.

Анатолий ЛИБЕРМАН

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Игорь Волгин. Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг). М.: Культура, 2023. — 870 с.

Начну с издательской аннотации.

«Игорь Волгин — историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведенные на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе.

Настоящее издание является своего рода путеводителем по нескольким фундаментальным работам автора. Основанная на многих неизвестных или малоизученных обстоятельствах, эта книга позволяет представить жизнь и смерть Достоевского как непреходящую национальную драму».

Все это не рекламное преувеличение, а, что называется, медицинский факт. Но книга эта не просто путеводитель — я бы назвал ее экстрактом или квинтэссенцией, если бы не был уверен, что в могучем волгинском пятикнижии — «Родиться в России», «Пропаший заговор», «Ничей современник», «Странные сближенья», «Последний год Достоевского» — остались «неохваченными» не менее важные идеи и факты. Однако «Круговая порука» выявила их круговую поруку — их взаимодействие, создающее синергетический, системный эффект, как это всегда и бывает в настоящем

художественном произведении. А книга Волгина — произведение несомненно художественное при всей ее роскошной документальности. Художественное воздействие создается не только историческим материалом, в котором есть и жизнь, и слезы, и любовь в таких количествах, которым иной раз могла бы позавидовать и мелодрама (при том, что все это чистейшая правда!), но и живой авторской интонацией — мы постоянно слышим голос повествователя.

Часто окрашенный мягкой иронией: «Те, кто осведомлен об интимных предпочтениях маркиза, готовы усмотреть в таковых описаниях сугубо прикладной смысл» (о восторгах маркиза де Кюстина по поводу мужской красоты Николая Первого); «В своих письмах из Сибири Достоевский всегда твердо указывает возраст избранницы — на три года меньше истинного. Эта хронологическая поправка, надо думать, заслуга самой Марьи Дмитриевны».

Но доступна повествователю и сдержанная патетика: «Он — *в моде*. И высший свет, как всегда, чутко реагирует на эту очередную моду, не подозревая о том, что силою обстоятельств он вынужден рассматривать предмет своей благосклонности именно *в высшем свете*, что на сей раз внимают не переменчивому настроению минуты, а уже ощущаемому дыханию вечности».

«Сей», «внимают», «силою», а не «силой» — стиль Волгина окрашен и едва заметной изящной архаичностью, более чем уместной в повествовании о Золотом веке русской литературы.

Но почему Золотом? Это же был век, когда за предвкушение будущих гармоний (Салтыков-Щедрин) могли приговорить к расстрелянию. Карнавальному, к счастью, но к каторге более чем реальной. Когда за туманные вычурности во вполне благонамеренной статье могли закрыть журнал и разорить его издателя. Когда бесконечные придирки цензуры вызывают в памяти мудрый завет Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят, как за большие. О крепостном праве и телесных наказаниях уже и не вспоминаю, чтобы не прибегать к слишком уж крупнокалиберной артиллерии: и без того ясно, что эпоха через край наполнилась страданиями и унижениями. Но это была эпоха невероятного взлета человеческого духа, и книга Волгина — настоящий гимн этому духу. Через тернии к звездам — при всей затасканности этого изречения оно вполне применимо к судьбе Достоевского.

И не только его.

«Очевидно, мы имеем дело с одним из интереснейших парадоксов русского общественного сознания.

Трем российским гениям — Гоголю, Достоевскому, Толстому — в какой-то момент становится *мало* одной литературы. Они вдруг начинают стремиться к тому, чем писатель как будто бы вовсе не обязан заниматься: они желают установить новое соотношение между искусством и действительностью. Они жаждут воссоединить течение обыденной жизни с ее идеальным смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой».

Можно иронизировать над тем, что этим титанам было мало создавать совершенные «тексты», можно даже отыскивать, чем их религиозные в своей сущности искания повредили их «художественности» (знать бы еще, что это такое), но без этих исканий не было бы и титанизма. Сведение литературы к чистой эстетике, подобно сведению науки к чистой прагматике, — это путь к измельчанию и деградации. Заоблачно гениальный Пуанкаре это понимал: не наука нужна для того, чтобы производить полезные машины, а машины нужны для того, чтобы доставить досуг для занятий наукой. Не нужно писать о пользе астрономии для мореплавания — «нет, астрономия полезна, потому что она величественна, потому что она прекрасна, — вот что надо гово-

рять. Она являет нам ничтожность нашего тела и величие духа, умеющего объять сияющие бездны».

Ничтожность тела и величие духа — я думаю, именно этот контраст вызывал доходящий до экстаза благоговейный восторг аудиторий последних месяцев жизни Достоевского. «Некрасивое, болезненно-бледное лицо», «с некрасивым и на первый взгляд простым лицом»... И о его триумфальной Пушкинской речи очевидцы вспоминают, начиная с этого контраста.

«Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряженно сосредоточенным и неприветливым».

«Взошел на кафедру невзрачного вида, тощий, согбенный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами, под выпуклым, изборожденным морщинами лбом».

И после провозглашения пророчества о всемирном единении людей — «рев», «воплъ восторга», «незнакомые люди плакали, рыдали, обнимали друг друга».

Не случайно же, тонко замечает Волгин, круг особенно преданных почитателей Достоевского составляют женщины, которые «любят ушами», а круг почитателей Толстого — мужчины-идеологи. Синергетический эффект иногда порождается и контрастом: сопоставление этих антиподов — Толстого и Достоевского — неожиданно открывает, что проповедник земной естественности Толстой в собственной семье был отчужденным олимпийцем, а вечно уносящийся в заоблачные выси Достоевский был естественнейшим любящим мужем и отцом, что было очень нелегко при его болезненной раздражительности. И расстался он с жизнью без всякой аффектации, соблюдая все положенные ритуалы и даже поинтересовавшись, успела ли пообедать Анна Григорьевна.

Тоже бесконечно трогательная в своей наивности и преданности — «Круговая порука» еще и гимн женской любви. Этот пророк и учитель для любящей жены чуть ли не маленький ребенок, на которого можно обижаться, но в конце концов всегда прощать.

На его похоронах все снова объединились и простили друг друга, либералы и консерваторы, славянофилы и западники, ненадолго если не осознав, то ощутив, что есть нечто несравненно более важное, чем все политические программы, которые суть не более чем технические средства, но никак не цели, — что есть в мире нечто несравненно более высокое — величие человеческого духа, величие человеческого гения.

С этим ощущением и заканчиваешь замечательную книгу Игоря Волгина. И вспоминаешь бесконечные дискуссии, какими должны быть учебники истории, которые не чурались бы жестокой правды и все-таки рождали любовь к своей стране, — вот такими они и должны быть.

Александр МЕЛИХОВ

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ПАМЯТИ

Вера Зубарева. Школьный двор. М.: Флорериум / Rugram, 2023. — 236 с.

Есть книги особенные, неожиданные и нетипичные для нашего времени. «Школьный двор» Веры Зубаревой — как раз из числа таких библиографических редкостей. Казалось бы, это обычное воспоминание о детстве и юности автора. Но думать так — большое заблуждение. В этом убеждаешься практически с первой страницы.

«Школа наплатила нас тем, чем мы живы и поныне, что несем в себе и будем нести всегда. И не только мы, но и те, что придут и пришли после нас, каждое последующее